



**Потерянный
во времени**

и другие истории

Алексей Поликовский

Алексей Поликовский Потерянный во времени. И другие истории

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42223757
ISBN 9785449656773*

Аннотация

Таксист в Москве, миллионер в Андах, отщепенец в пустом самолете, узник концлагеря, два алкоголика, писатель без единой книги, subtilный европеец, затоптанный в русской истории, — что между ними общего? На первый взгляд ничего. Но чем дальше читаешь, тем острее чувствуешь тянущую и неизбывную тоску человеческой жизни. Все эти люди заплутали в смутном времени и не знают, где окажутся завтра.

Содержание

ОВОЩ ГОСПОДА БОГА	5
В СНЕГУ	44
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Потерянный во времени И другие истории

Алексей Поликовский

© Алексей Поликовский, 2019

ISBN 978-5-4496-5677-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ОВОЩ ГОСПОДА БОГА

О – о – у – у – у – уфф!, – громкий нарочитый вздох пролетел над казёнными столами, оббежал тусклые стены, отразился от коричневых сейфов, вернулся назад к исторгнувшему его человеку. Я поднял голову и посмотрел на него. Человек, сидевший напротив меня, недавно устроился к нам на работу. Я не знал о нём ничего, кроме имени. Растерянная улыбка витала в его бороде, глаза улыбались.

– А эти эфиопки то... ничего!, – он кивнул на страницу Paris Match. – Ох, и классные ж эти эфиопки!

– Наверное, – согласился я, не имея на этот счёт ни мнения, ни опыта. – Вы были в Эфиопии?

– Никогда я не был на Босфоре.., – морщинки у его глаз усилились. – А вы *где-нибудь* были?

– Нигде. Я невыездной. Еврей и не член, – два этих коротких слова полно описывали мой социальный статус полуотщепенца. – А вы?

– Ох, я.., – вздохнул он.

Я понимал, что от хорошей жизни он не стал бы сидеть в конторе с облезлыми железными сейфами. Контора наша была пристанищем потерпевших кораблекрушение переводчиков. В его улыбке, голосе, иронии, в потрёпанных курточках фирмы Lacoste, в видных под брюками шикарных белых теннисных носках угадывалась его прошлая, иная

жизнь, протекавшая, возможно, за границей, в посольствах, торгпредствах или культурных представительствах, сияющая, как сон, прекрасная, как рай – жизнь, из которой он выпал или был изгнан сюда, в унылую осеннюю комнату с окном, выходящим на железную дорогу.

Мы глядели друг на друга с симпатией двух неудачников, загнанных в ноябрь, в контору с сейфами, в которых хранились под замком иностранные журналы, доступные любому посетителю кафе в любом европейском городе. Европейские города, Вена и Париж, с их огнями, были моей мечтой, мечтой невыездного. За стеклом, обрызганном каплями дождя, внизу, в стилом сером тумане, видны мокрые крыши новостроек, безмянные улицы, железная дорога. В этой комнате мы обречены были всю нашу жизнь переводить постылые статьи об апартеиде, угнетённых индейцах, замученных палестинцах...

– Я был. Но мне сейчас самому в это плохо верится.

Он вдруг опустевшими глазами посмотрел в окно, и лицо его на мгновение стало сухим и серьёзным, как в преддверии смерти. Кожа на скулах натянулась, стала коричневой и ломкой, как пергамент. Изящная русо-рыжеватая бородка торчала нелепо. Или это свет так упал?

– И где? В Париже?

– Нет, не угадали. По-французски говорят не только во Франции.

– Ещё где-то в Африке?

– Опять не угадали.

– Сдаюсь.

– В Лаосе.

– В Лаосе?

– Да. Я очень люблю эту страну, одно время даже думал остаться там, а теперь, – он помолчал – мне иногда кажется, что это был сон. *Сон на окраине мира.*

– Расскажите.

– Рассказать? Он вытянул ноги под столом, забросил руки за голову, вытянулся на стуле. Он был в тёплой зелёной коффе на пуговицах. Потянулся и зевнул. – День какой-то сонный, да? А ну их к чёрту, переводы...

– Знаете, – сказал он, – уже восемь лет прошло с тех пор, как я вернулся. Восемь лет, да. Ну, я всё это время не скучал, – лёгкой улыбкой он дал мне понять иронию своих слов, – жил как мог, был и садовником, и библиотекарем... Снова улыбка, на которую я ответил кивком и улыбкой: всё это было и мне знакомо. – Ну, вообще, много времени прошло и много событий случилось. Прошлое, понимаете, мутнеет, отлетает. А тут – не так. Чем больше проходит времени, тем яснее я вижу Лаос и себя в нём. Такое сияющее, ви-сящее в воздухе видение.

Знаете, вот что, вот в чём дело тут, наверное. Люди делятся на две большие и неравные группы, – он говорил с округлыми, плавными жестами маленьких рук, как буд-

то лепил перед грудью невидимую статуэтку. – Меньшая часть – герои, военные, святые, преступники, лётчики-испытатели, разведчики и тому подобная пёстрая публика, жизнь которой наполнена самыми невероятными приключениями. Понимаете, войны, путешествия, любовь, контрабанда, шпионаж и так далее. Ну Флеминг же пишет *с чего-то* свои романы? Но большая часть, остальные миллионы, живут от дома и до работы и обратно и обречены на пустоту. *Жизни* не хватает на всех, понимаете?

Я кивнул, гадая, к чему он клонит. Времени для разговоров у нас было невпроворот – целый рабочий день. Этот. И следующий. И ещё сколько угодно таких же одинаковых дней.

– Ничего, не очень я вас глушу своей доморощенной философией?, – улыбнулся он. – Я, видите ли, вообще-то философ. Небольшого масштаба, кухонный... Но и вы ведь..?

– Ну, и я. А что остаётся?

Он улыбнулся мне слабой понимающей улыбкой. Слабость и лёгкая растерянность были в нём постоянно, две константы, вокруг которых вращалась его душа. Он был невысок ростом, неширок в плечах. У него были маленькие руки и ноги, что вместе с небольшим ростом и витающей улыбкой заставляло предположить малый запас внутренних сил. И вообще, во всём его облике, манерах, голосе, улыбке было что-то мягкое, умеренное, неразмашистое – тихий, комнатный мужчина, склонный к вечернему уюту, интеллигентным

разговорам, чаю и вину.

– Значит, согласны потерпеть?

– Согласен, – сказал я. – Валяйте дальше.

– Валяю дальше. В средние века люди жили короче, тридцати пяти лет хватало. Успехи медицины, гигиены и цивилизации сильно удлиннили жизнь. Физически человек живёт теперь и семьдесят, и восемьдесят, но ему жить нечем, нечем наполнить свои годы. С этой засасывающей пустотой связаны почти все явления двадцатого века. Экзистенциализм, кризис духа, закат Европы, фашизм... Что такое фашизм? Приступ бешенства в жизненной пустоте, попытка наполнить жизнь хоть чем-нибудь, вырвать у жизни хоть какое-нибудь приключение.

– Ну, весёлые времена нас ждут... Скука-то сгущается.

– Нет, теперь есть более мягкие способы, вы понимаете, – успокоил он меня, и мы улыбнулись друг другу понимающе, как два безумца, – целая индустрия, *виртуальная реальность*, создающая для толпы иллюзию наполненной жизни. Шоу-бизнес, политика, кино, спорт. Но отдельные индивиды... отдельные индивиды, чёрт возьми... их периодически мутит от тоски... Я не преувеличиваю, представьте старика, вот он жил семьдесят лет и за семьдесят лет у него была в жизни одна настоящая минута. И он вдруг понимает, что его обдурили, а поправить уже ничего нельзя... Ну ладно, перейдём, так сказать, к самой истории, слушайте.

Я попал в Лаос, не прилагая к этому никаких усилий. До двадцати трёх лет я вообще ни к чему не прилагал усилий, если не считать зачёт по латыни на третьем курсе. Я только что кончил институт, был женат, отец моей первой жены работал в МИДе. Всё вышло само собой.

Вьентьян, столица Лаоса, по нашим меркам крошечный городок. Он вытянулся на пять километров вдоль Меконга. Наполовину состоит из огородов – все лаосцы, от министра до нищего, выращивают овощи. Советская колония, как ей и положено, живёт замкнуто и однообразно. Место сосредоточения – «советский дом», стоящий на опушке манговой рощи. Раньше этот дом назывался «американским», а ещё раньше «французским».

С восьми до пяти жители дома работают, вечером отдыхают, смотря фильмы Рязанова на бывшей американской авиабазе. Ну, и ещё, конечно, обшаривают магазины, скупают магнитофоны, упаковки кассет, джинсы, китайский фарфор, бамбуковые занавеси. Вернувшись в Москву, вешают цветной бамбук в проём двери и потом всю жизнь рассказывают пару историй о Лаосе, вычитанных в какой-нибудь французской книжке.

Когда я приехал, свободных квартир не было, и меня на время поселили на вилле бывшего министра обороны, сгинувшего куда-то после революции. Виллу лаосцы отдали советнику по контролю над гос- и партаппаратом, к которому я был прикреплен переводчиком.

Некоторое время я находился во власти мысли, что прислан сюда работать. Ждал, что вот-вот мы с советником понесёмся на нашем старом «Мерседесе» разбираться в кознях, направлять, контролировать... Но никаких поручений не было. Не было, и всё. Лёжа на кровати, я задумался.

Об этой кровати надо сказать особо. Она была сделана на славу. Вернее, матрас; американский матрас, принимавший форму тела. Каких только поз я не выдумывал! Я поворачивался с одного бока на другой, подпирал голову рукой, забрасывал ногу на ногу, ложился по диагонали, закидывал ноги на спинку и переворачивался так, что ноги оказывались на месте головы. Вестибулярный аппарат шутил шутки – я переставал понимать, где верх, где низ. Я парил между полом и потолком, я вызревал, как кабачок на грядке. Время шло; час от часа, сутки от суток отличались лишь позой и пятнами света на полу и потолке. Так я лежал до тех пор, пока откуда-то сверху в голову мою скользнула фраза, которая звучала и звучала в абсолютной пустоте моей головы: *«Я овощи Господа Бога»*.

Понимаете, это ключевое понятие всей моей истории. Понимаете, я до сих пор считаю это идеальным определением. Мы – овощи, мы – урожай. Нас выращивают и собирают. Для каких-то целей. Но большинство этого не осознаёт.

Понимаете, мне было двадцать три года, мальчик из номенклатурной семьи, с гладкой жизнью, всегда как в вате. Во мне была – да нет, конечно, есть до сих пор – лёг-

кая инфантильность, или, иначе говоря, неспособность понимать самые простые вещи. Никаких диссидентских, критических книг я тогда не читал, но французские глотал тоннами и по убеждениям был нечто вроде вольтерьянца. И вот, сменив позу на чудо-матрасе, думаю: меня в спешке, в лихорадке, быстрее, скорее – двадцать врачей за три дня, пять характеристик за день! – перебросили за десять тысяч километров от Москвы. Перед отлётом десять Пётр Ивановычей жали мне руку, предупреждали опасаться мстительных американцев, остерегаться хитроумных французов... Но то, к чему меня готовили, отсутствовало, «Мерседес» ржавел в гараже, и на рассвете четвёртого дня, проведённого на матрасе в замысловатых позах, мне пришла в голову дерзкая мысль о том, что *я свободен...*

Потом, когда всё кончилось, меня иногда охватывало странное чувство стыда. Мне было стыдно, что я подвёл тех глупых, но по своему милых Петров Ивановычей, которые жали мне руку и наставляли меня. Я не оправдал их надежд, не вернул аванса. Как сказал мне позднее один человек, *вы оказались не тем за кого мы вас считали*. Оставаясь при той же овощной терминологии, я оказался *некондицией*.

Ну вот. Когда вы приезжаете в чужую страну, вас обуревают любопытство, составляющее счастье жизни. Вам хочется жить, а не бежать скупать бамбук. Вот в этом я отличался от других. Но поначалу всё шло нормально.

Лаос – это тайна. Я понял это в первую же ночь, когда

проснулся от того, что кто-то ребром монетки тихо постукивал в окно комнаты, где я спал. Представляете моё напряжение, мой страх? Но это была, как я вскоре узнал, всего лишь маленькая ящерица, которую советские называют «машками». Распластав лапки, они беловатым брюшком прилипают к прохладному стеклу и самозабвенно цокают крошечным красным язычком. Безобидная шутка, добродушный привет, который старик Лаос посылает новоприбывшему.

Обычная реакция европейца на Лаос – крайняя напряжённость. Каждый шаг требует внимания, особенно вне города, в джунглях. Опасностей действительно хватает. Многие так и остаются в этом состоянии, годами ждут подвоха, живут в уверенности, что Лаос – подлое место, страна, которая только ищет случая, чтобы причинить им боль. Я тоже начал с того, что ходил, глядя под ноги, потому что очень боялся змей, которых там много. Но что толку смотреть под ноги? Ты смотришь вниз, а она выползет из вентиляционного отверстия в кухне и свалится тебе на голову, когда ты будешь жарить яичницу.

Был июль, разгар лета. Я шатался по городу. Меня интересовали ресторанчики, рынок, Меконг, блюда лаосской кухни, лаосские праздники и сами лаосцы. Вы наверняка представляете себе лаосцев маленькими и хрупкими, похожими на вьетнамцев, но это ошибка всех непосвящённых, на самом деле лаосцы совершенно непохожи на вьетнамцев. Их мужчины высоки ростом и красивы. Внешне они похожи

на латиноамериканцев. Существует теория, утверждающая, что лаосцы предки инков; в глубокой древности они переселились с берегов Меконга на берега Урубамбы. В них есть спокойствие, сдержанность, благородство. Их женщины церемонны, даже проститутки. Все лаосцы буддисты. В них часто есть что-то необъяснимое и таинственное, намекающее на то, что они живут не впервые. Они говорят с вами как князья, волею судьбы временно выполняющие работу торговцев, шофёров такси, плотников.

Я часами ходит по Вьентьяну. Ходил бесцельно, сам не зная, куда занесут меня ноги. Заходил в ресторанчики. Их тысячи. В крошечном зале обычно всего два столика. Я усаживался за один из них и ел мясо под кремом. Это сочные, нежные куски, залитые сладкой массой. Экзотично, но не шокирует. Мне хотелось большего. Я заказал лап – блюдо, мгновенно излечивающее от простуды. Это внутренности оленя, перемешанные с красным перцем. Жуткое зрелище. Я подцепил на вилку, сунул в рот, проглотил – и окаменел. На лбу пот. Огонь сползает вниз, по горлу, по пищеводу, в желудок. Потом медленное облегчение, расслабление. В конце – слабость, блуждающие мысли, нирвана.

Через месяц я уже мог жрать этот скользкий комок внутренностей без раздумий, запивая шестидесятиградусным лаосским самогоном. Глотал всё это с улыбкой. Вот что значит быть лаосцем.

Антикварные лавки влекли меня. Вы можете рыться в них

часами, хозяин не скажет ни слова. Не в обычаях лаосцев делать замечания людям. Эти лавки полны прекрасных и бесцельных вещей. Да, вы можете прийти сюда утром, провести в лавке весь день, перекладывая слоновые бивни, рассматривая битые чашки, встряхивая пыльные циновки, на которых изображена гнущаяся под ветром одинокая сосна, а вечером вежливо попрощаться и уйти, ничего не купив. Это нормально. Вещи обычно свалены в огромную кучу на полу. Я перерыл сто таких куч и из сто первой выудил дуэльный пистолет с инкрустацией, ствол которого был забит землёй. В огороде за виллой я вычистил пистолет и с тех пор иногда носил его с собой, затыкая за пояс брюк.

Вы понимаете, я впервые в жизни очутился *один*, предоставленный сам себе, без присмотра преподавателей, родителей – один на свободе в новой восхитительной стране. Я стал меньше спать. *У меня менялся организм.*

В Москве я был подвержен приступам сонливости. Бывало, я целые дни проводил лёжа. Засыпал на лекциях, в автобусах. Жил с полуотключённым сознанием. Здесь на меня снизошли свежесть и бодрость, каких я никогда до этого не испытывал. Я не хотел спать, понимаете?, – он многозначительно посмотрел на меня, как бы приглашая угадать в этой фразе её подлинный, глубокий смысл, доступный лишь нам, жителям сонных просторов.

– Вставал я рано. В шесть утра шёл завтракать на рынок. Рынок —единственное место, где на завтрак можно полу-

чить суп. И мне втемяшилось в голову, что я буду завтракать супом, я видел в этом особенный шик. Ну, знаете, наслаждение, какое получает аристократ, посещая притоны. На рынок советским запрещалось ходить, это был притон. У грязного сарая, сколоченного из досок красного дерева, в предрасветной тьме бродили тени утренних любителей жизни. Повар-малаец с чёрной бритой головой и оттопыренными ушами колдовал над варевом, булькавшим в кастрюле, стоявшей на огромной покосившейся плите. Сюда приезжали по утрам несколько французов на автомобилях, приходил однорукий австралиец в рубашке цвета хаки с подколотым рукавом. Никто ни с кем не заговаривал. Повар, как дьявол, помешивал в чане черпаком и разливал в пиалы. Получив свою, я устранился на корточках под манговым деревом. Суп был раскалённый и густой, рис таял на языке, чёрные дробинки перца я смачно сплёвывал в пыль, на землю...

Вот так. Но утренних визитов в притон мне было мало. Я был как в запое, я хотел захватить побольше жизни. Я *жил*, понимаете? Как-то раз в магазине в «советском доме» я познакомился с дюжим, низкорослым мужиком с выпирающей челюстью и могучими волосатыми руками – шофёром грузовика «Колхида». Он по утрам ездил в бассейн. Грузовик специально оставлял на ночь у подъезда. Я легко и безболезненно изъял у себя ещё час сна и присоединился к нему. Он заезжал за мной, я вскарабкивался в высокую кабину и нёсся по пустынному ночному городу. В бассейне в этот час нико-

гда не бывало никого, кроме нас. Шофёр бросался в тихую зеленоватую воду, взламывал её покой, и, фыркая как морж, грёб пятьдесят метров туда и пятьдесят обратно, до тех пор, пока не набирал двух километров. Он был одержим своей физической формой, угрюмо изнурял себя. Я же, расслабленно поплескавшись минут двадцать, с мокрыми волосами и наброшенным на плечи полотенцем переходил улицу и будил ударами ноги в дверь хозяина ближайшего кафе, дядюшку Птко. Маленький сгорбленный старичок в розовом китайском халате и в круглой шапочке на лысом черепе открывал дверь, и, ничего не спрашивая, варил мне кофе и делал яичницу. Никогда я не ел более вкусных глазуний! Потом рассветало. Рассвет в Лаосе наступает так, как будто на небесах щёлкнули выключателем. И я пешком, по пустым улицам, мимо открывающихся кафе, ресторанчиков, магазинов бездумно возвращался домой.

Никто не обращал на меня никакого внимания. Так мне казалось, и я, конечно, ошибался. Мало-мальски осмотрительный человек вёл бы себя иначе. Но что такое *ошибка*? Вы знаете, в жизни нет никаких ошибок, это заблуждение европейской логики, которая нагружает нас причинно-следственными связями, предполагает рациональность поступков, связывает времена как детали в детском конструкторе... Всё это, конечно, чушь, особенно если нам перестать переоценивать себя и признать нашу *растительную* природу... Я думаю, всё, что мы делаем, всегда правильно. Будущее

неспособно поправить прошлое и, следовательно, не имеет права оценивать его. Любая ситуация есть способ проявления нашей подлинности, наша подлинность бесконечна... Понимаете? Так что я, видно, единственный в мире случай вольтерьянца-буддиста, – мягким, ироническим смехом засмеялся он.

Нам надоело сидеть с ним за казёнными столами напротив друг друга, и мы вышли в коридор.

Этот коридор разрезал этаж пополам. Он был серый и тусклый. Белые, в дырочках, звукопоглощающие щиты на потолке, лампы дневного света, влево и вправо одинаковые двери. Из дверей то и дело вылетали люди и устремлялись в другие двери. Это был главный проспект учреждения, главная бюрократическая улица с двусторонним движением. Навстречу нам, постукивая каблучками, проходили секретарши начальников с высокомерием во взгляде; торопились к лифтам деловые мужчины, на ходу рассказывавшие друг другу истории своих борений, подвигов, успехов; женщины несли в руках вместо младенцев папки; прошёл вдруг угрюмый слесарь в синем замасленном комбинезоне и с гаечным ключом в огромной руке...

Мы шли неспешно в один конец, до самой стены, потом поворачивали и шли в другой, мы проходили сквозь треск печатных машинок, трезвон телефонов, гул голосов. Мы *гуляли*.

Мелькание бессмысленных для нас лиц и звуков, серый свет коридора – всё это окружало, но не касалось нас. Кружилось вокруг нас, как медленная чужая Вселенная. Мы были как в коконе. Два чудака, два мечтателя и читателя, два любителя подробностей, знавшие мир по книгам. Я даже не знал, правду ли он говорит или пересказывает мне какую-нибудь историю, вычитанную им в замысловатой французской книжке. Какая разница?

– В скором времени, – сказал он, улыбаясь своей приятной, мягкой, всегдашней улыбкой, – я получил квартиру в «советском доме». Трёхкомнатный роскошный апартамент с балконом и огромной ванной. Пол, как положено, кафельный, он приятно холодит ноги, даже зимой в Лаосе плюс пятнадцать, а потолок из красного дерева. Дело в том, что в Лаосе все лавки, сараи и виллы строят из красного дерева, – сказал он, заметив мой недоумённый взгляд. – Последний бедняк, хозяин развалюхи на окраине Вьентьяна – обладатель штабелей красного дерева, а оно, между прочим, стоит на мировом рынке тысячу долларов за кубометр... Ничего, что я отвлекаюсь на детали? Выходит вроде бы история без сюжета, из одних деталей... Он засмеялся и в воздухе рядом со своей головой нарисовал маленькой рукой витую замысловатую траекторию.

Я пылко заверил его, что он имеет дело с ценителем деталей, что деталей в любом рассказе мне всегда как раз хочется узнать как можно больше... что касается сюжета и психоло-

гии, то на эти реликты классической художественной литературы он может не обращать внимания. Я уже давно заметил, что всё, изображенное в классической литературе, не имеет никакого отношения к моей жизни, в которой нет сюжета и почти нет психологии...

– Очень хорошо, – он улыбнулся в свою аккуратную русую с рыжиной бородку, не в силах скрыть удовольствие от моих речей. – Я полностью разделяю ваши взгляды.

Мы обменялись рукопожатиями. Он продолжал.

– Кстати, ещё о Лаосе... Лет за десять до того, как я приехал в Лаос, эта страна была тылом американцев, воевавших во Вьетнаме. Сюда, во Вьентьян, они приезжали на отдых. Они называли Лаос «рай, обнесённый колючей проволокой». Здесь они находили выпивку и проституток, но здесь никогда не было громкого и буйного разврата. Да, янки ехали сюда за приключениями, но это были особые приключения. Лаосские девушки очень красивы, горды и церемонны. Страстная, самоуглублённая любовь отвечает духу этой страны...

Вот мы и добрались до любви. Во Вьентьян на практику приехали две студентки института стран Азии и Африки, девушки Ира и Оля. Само собой, я сразу взял с ними тон *ветерана Лаоса*, с усмешкой говорящего о змеях, ящерицах и антиправительственных повстанцах патиканах. Одна из девушек, Оля, стоило мне начать говорить, прямо-таки смотрела мне в рот.

Понимаете, я действительно был *король*. В двадцать три года жил плейбоем в Лаосе, имел собственную квартиру, старинный дуэльный пистолет, деньги, неограниченный досуг. Философствовал, размышляя о сходстве человека с овощами. О-чень оригинальный человек!, – с нескрываемым сарказмом произнёс он.

Эта Оля была высокая блондинка в больших очках с выпуклыми розоватыми стёклами. Всегда носила брюки. Я никогда в жизни ни до, ни после этого не встречал человека, который бы с таким истовым, подобострастным интересом слушал мои рассуждения. Поначалу её внимание польстило моему самолюбию. Но потом я почувствовал, что что-то тут не так. В её присутствии я испытывал дискомфорт. Я видел, что она старается быть поближе ко мне в прямом, физическом смысле этого слова – садилась рядом со мной на диван, когда мы вечером собиралась у меня пить пиво, шагала со мной рядом, в неестественной близости, когда мы все вместе выбиралась на прогулку по Вьентьяну. Старалась на ходу коснуться меня бедром, задеть рукой. И не то чтобы она мне не нравилась. Я был в том возрасте и состоянии, когда нравятся все женщины без исключения, но уж больно навязчив был прессинг, больно настойчиво она предлагала себя... Меня, с моими высокими умственными понятиями, заклинило.

Наверное, если бы я был тогда попроще и поциничнее, я бы понял, что лучшим выходом – и вполне милосердным – было бы уступить ей и тем дать ей покой. Она ведь тоже еха-

ла в Лаос за приключением. Но я упёрся. Всё в ней, в этой симпатичной молодой женщине, стало мне неприятно, антипатично: хищные красные ногти, вихляющая походка, переливающийся на каждом шагу в тугих джинсах зад, голос, исполненный эротической патоки... Всё это было так нарочито, всё это так претило моему вкусу... Я так страдал!

Вторая девушка, Ире, была невысока ростом, фигура скорее мальчишеская – широкие плечи, узкие бёдра. Бледное лицо, усыпанное лимонными веснушками, серые глаза. Как-то раз, столкнувшись с ней во дворе дома, я, сам того не собираясь делать, пригласил её прогуляться по городу, пригласил тоном знатока и ветерана, оказывающего любезность новичку. «Сегодня Праздник Ракет... Я проведу вас по самым интересным местам... На Меконге есть чудесные виды». Вечером мы, болтая, медленным шагом вышли в город. Об этой прогулке я вам, пожалуй, расскажу поподробнее – не потому, что она сильно отличалась от других наших прогулок, а просто для того, чтобы вы поняли характер наших отношений. Ну, это были не совсем обычные отношения. Мы философствовали.

В тот вечер мы вышли в город, и тихая девочка поглядела на меня прозрачными серыми глазами так, как будто мерзости мира не существует. «Так куда же мы пойдём? – На Меконг. Смотреть мотогонки. Видели когда-нибудь мотогонки? – Мотогонки..? Неет...» Она сама взяла меня за руку. Её рука в моей была прохладной, гладкой, со слабыми

нежными пальцами, и я, держа эту маленькую полудетскую руку с тонкой, хрупкой кистью, вдруг понял, что это существо абсолютно доверяет мне. Верит в то, что не могу причинить ей вреда. Она пошла бы со мной так же спокойно, если бы я сказала, что мы идём не на мотогонки, а в бордель. От волнения у меня засосало под ложечкой.

Лаосцы устраивают мотоциклетные гонки на обнажившемся дне своей великой реки. Мы нашли пустую беседку. Сидя в беседке над рекой, положив руки на перила и оперев о них подбородки, смотрели на фигурки мотокентавров. Они срывались с места и неслись, обгоняя друг друга. Истовый рёв моторов висел в воздухе. В паузах между заездами был слышен звон гитар. Невидимые в зелени, в беседках сидели влюблённые пары и пели старинные песни. В голосах поющих грусть. День всё длился – долгий лаосский день. Вдруг день погас. Нервная дрожь пробила меня. И тут же по всему небосводу высыпали звёзды. В темноте еле слышно шелестел Меконг. На том берегу, за деревьями, в Таиланде зажглись неоновые фонари. Секунда глубокой, полной тишины – и глухой рёв прошёл по земле под нашими ногами, и в небо, оставляя за собой оранжевые расплывающиеся хвосты, помчались сотни ракет. Они вихляли, срывались, обгоняли друг друга. Добежав до высшей точки высоко на небосводе, над нашими закинутыми головами, ракеты взрывались, раскидывали красные искры и потом медленно и лениво опадали в реку струями тяжёлого багрового огня...

И мы, держась за руки, долго смотрели на это.

Во мне зрела безумная идея бросить всё и остаться здесь. В самом воздухе этого города, этой маленькой страны разлит покой, и самоуглубление написано на лицах прохожих... Но в тот раз я ей ничего не сказал.

В другой раз вечером мы просто долго гуляли по пляжу Меконга. Навстречу нам шли два пожилых человека, он и она, супружеская пара, французы. Он был высокий, худой, седовласый, в очках с толстыми стёклами, похожий на Дон Кихота. Знаете, у близоруких людей почему-то всегда очень хорошие глаза. Я уже встречался с ним на рынке по утрам, и мы здоровались. Не знаю, что его приводило на рынок. Вряд ли он был бескорыстный любитель утреннего супа, вроде меня; скорее, он делал какие-то не вполне законные дела с наркотиками или с оружием, в компании с одноруким австралийцем... Его жена была тоже высока ростом, крашеная блондинка с красивым холёным лицом, с серо-зелёными глазами, знаете, такой провинциальный вариант Катрин Денёв... Я знал, что у них магазинчик в городе. Да, конечно, они торговали какой-нибудь мутью, немецкими наборами вилок из нержавеющей стали или японскими телевизорами, собранными на Тайване – но я был уверен, что их удерживает здесь не коммерция, а что-то другое. Они остались в Лаосе, после того как французы ушли. Остались *навсегда*. Глядя в их спокойные лица, я испытывал чувство глубокого и радостного почтения к их мужеству. Кивок, которым меня ода-

рил пожилой француз, как удар меча по плечу, возводил меня в ранг сторожила. Я помню, сказал Ире:

– Живут тут уже лет тридцать, *на окраине мира*... Что-то приятное в них есть, да?

– Да, очень... Как вы думаете, если мы будем каждый вечер с ними здороваться, они пригласят нас в гости?, – сказала она вдруг с каким-то детским, удивившим меня любопытством.

– Раньше у вас кончится практика... Вы могли бы здесь жить?

– Как это?

– Ну, остаться здесь. Жить здесь. Навсегда остаться.

– А чем зарабатывать?, – деловито спросила она, сразу переводя разговор из плоскости аморфных мечтаний, которые так свойственны мне, в плоскость практическую, которая всегда меня пугала. Но у меня уже были планы.

– Я бы торговал антиквариатом. Знаете, оказывается, я всю жизнь мечтал иметь антикварную лавку на Меконге. Я это недавно понял. Может такое быть?, – спросил я этого усыпанного веснушками ребёнка, ища у него опоры в сомнениях.

– Может! – сказала она щедро.

– Но почему же я тогда родился в Москве? Зачем? Отчего не здесь?, – посыпались из меня вопросы. Десятки вопросов. Я никогда ничего не знал о себе.

– А вы не волнуйтесь! – успокоил меня воробушек. –

Мне кажется, это всё просто. Нас слишком много, за всеми не уследишь. Да, Он не может же уследить за каждым зёрнышком, какое куда упадёт... – сказала она убеждённо. – Он нас высеивает, а мы мигрируем... – нарочито-детским, наивным языком объясняла она. – Не бойтесь, в этом греха нет, это придумали люди, ну не может же Он в самом деле всерьёз следить за тем, кто куда подался...

Я никогда раньше не говорил с ней на такие темы, не рассказывал о голосе, произнёсшем *Овоц Господа Бога*, и меня поразило совпадение терминологии.

– Так что? Вы думаете...

Я был слаб и ничтожен, как тряпка.

Она задумалась. Потом сказала разумно:

– Мы не можем остаться здесь. Нас выдадут. Вот если бы мы бежали в Таиланд... А какой у нас был бы магазинчик?, – тут же спросила она с таким живым интересом, как будто покупка его уже стояла в повестке дня. – Я бы хотела торговать цветами. Слушайте, а как *это* делается?

Мне стало не по себе. Стало страшно. Напоминаю, я был мальчик из хорошей, начальственной семьи, где такие разговоры даже вести боялись. А я почувствовал, что разговор вдруг соскользнул на опасные рельсы с уклоном... И если сделать одно неосторожное движение, то можно полететь, наращивая ход, так, что уже не остановишься... И весь хлам о будущем, о карьере, о родителях, о жене в Москве задрезжал у меня в голосе... Я посмотрел на неё, на её тонкий

спокойный профиль, на нос, усыпанный веснушками. Что таится за гладким лбом с двумя завитками по бокам? *Кто она?* Провокатор из ГБ, вылавливающий склонных к побегу сотрудников советских колоний, наивная девушка-студентка, искушённая шлюха? Что я должен делать? Хватать её в объятия, признаваться в любви, тащить её немедленно в постель, переспать с ней и бросить, бежать с ней в Таиланд и связать с ней всю мою жизнь? Я не знал, понимаете, и спросить было некого!

Вот так. Я не мог отличить невинность от искушённости, провокацию от единственного в жизни шанса. Понимаете, я прочёл к тому времени уйму книг, сотни три романов самых лучших писателей, весь психоанализ, Фрейд, Юнга, но стоило мне столкнуться с самой обыкновенной девушкой, к тому же младше меня, как я ощутил полное бессилие понять, что она *на самом деле* думает.

К тому же она очень нравилась мне. Бессмысленно описывать чем. Просто нравилась. Это не придавало стройности моим мыслям.

– Переправиться просто, – сказал я, по инерции продолжая играть роль *короля*. – Вот этот парень мог бы помочь нам переправиться, – я кивнул на дальний берег Меконга, на невидимое шоссе и на две вереницы фонарей. И засмеялся весёлым фальшивым смехом, готовя себе алиби, доказывая ей на всякий случай, что всё это у нас с ней такая игра, шутка. Понимаете, я подстраховывался. Вот если бы я

не подстраховывался, если бы я играл честно, как она, то я бы выиграл, но дело в том, что меня с детства учили – осторожности...

Пограничник из своей будочки провожал нас взглядом. Я понимал его мысли без слов, как это бывает между соотечественниками, живущими в одной жизни. Он торчал в своей будочке якобы для того, чтобы воспрепятствовать контрабанде из Таиланда. Но по ночам он помогал выгружать ящики из лодки и получал за это небольшую прибавку к своему небольшому жалованию. Переправиться в Таиланд было действительно пустяшным делом.

Да, я шутил, валял дурака. Я прятался в иронии, в ёрничестве и очень мерзко чувствовал себя. Мы медленно шли по берегу. Вот если бы она тогда сказала бы мне: «Давай убежим!» – бежал бы я? Способен ли я был бежать с девушкой, которую любил, на другой берег Меконга, в другую, необыкновенную жизнь, в удивительные места, к храмам и джунглям, способен ли был прожить жизнь в Таиланде, торгуя антиквариатом? Возможно, если бы она сказала: «Давай!», я бы согласился; я бы рывком вырвал себя из моей всегдашней иронической болтовни, от которой меня тошнит, я бы... если бы... ничего невозможного в этом не было... не очень-то широкая река... вот тогда я перешёл бы в компанию героев и авантюристов, жизнь которых наполнена самыми невероятными приключениями!, – сказал он с усмешкой. – Но ничего этого, как вы понимаете, не случи-

лось. Я испугался. *И я знаю, что она поняла, что я испугался.*

Возникла пауза. Снова на лицо его напозла тень.

– А ведь всё могло повернуться так, что Флеминг с меня написал бы свой очередной роман, – сказал он, как всегда, с иронией, но лицо его скривилось в тоскливой гримасе. – О Господи, если б вы знали, как мне не хватает всего этого, как я иногда тоскую по утерянному Лаосу! Ну ладно, *эти* детали мы пропустим, – сухо прервал он сам себя. – Продолжаю. Хотя что же тут продолжать?

Вы знаете, я никогда в жизни не встречал таких женщин, – вдруг сказал он с необычной для него горячностью и сделал лёгкий жест рукой, как будто отбрасывал что-то внешней стороной кисти. – Никогда. Я хочу, чтобы вы это поняли. Никогда. Она была *другая*. Эти веснушки, эти широкие плечи... Знаете, в ней был покой, от природы данный покой, который и есть гармония. Она, конечно, не была никаким агентом КГБ, это меня научили во всех видеть агентов КГБ... В ней не было той суеты, которой так много во мне и которую я пытаюсь смирить философией. А она была мудра без философии. Ребёнок. Мне было с ней легко. После наших прогулок мы возвращались домой и до трёх часов ночи сидели у меня на балконе. Ну, не хочется заканчивать так печально, на ноте собственного ничтожества. Вы понимаете, она восприняла этот разговор всерьёз, она была готова и на ночной побег, и на магазинчик в Таиланде, и на то, чтобы провести

всю свою жизнь со мной... и поняла, что я боюсь. Когда поняла, всё как-то умерло между нами, сдуло, как проколотый воздушный шарик.

Вы понимаете, люди рождаются для разного, и чаще всего не для того, для чего их воспитывают семья и школа. Она была рождена быть весёлой без причины, радостно-удивлённой по любому поводу. Давайте, я ещё расскажу вам о ней. Как все члены советской колонии в Лаосе, она скупала часы. Их собирали в тесных дощатых цехах Гонконга, на берегу грязного моря, и всеми возможными и невозможными путями развозили по Азии. Советские вывозили часы в Союз, там перепродавали. И мне, и ей это было противно. И всё-таки мы тоже покупали часы. Однажды, придя с рынка, мы вместе с ней ходили на рынок, она уселась на диван и, глядя на своё тонкое запястье, украшенное тремя разноцветными циферблатами, показывавшими три разных времени, выдала фразу, искупавшую позор нашей мелкой корысти: «Часы как кошка, гуляющая сама по себе. Сами пьют, сами мячуют, сами спят и сами идут, куда хотят...»

Да, она был философ-ребёнок, и иногда я умирал со смеха, видя, какое обиженное недоумение выражается на её бледном веснушчатом лице московского подростка. Однажды на рынке мы остановились у витрины лавки, в которой не было ничего, кроме корня в проволочной шапке. Корень покоился на бархатной подушке. Хозяин лавки стоял в двери и глядел на нас.

– Что это?, – спросила Ира, оборачиваясь к лаосцу. Лаосец был в голубой шелковой рубашке навывпуск, с широкими рукавами, в так называемой «фомвихановке». У него было гладкое коричневое лицо человека, которому может быть тридцать, а может быть семьдесят.

– А ничего, – ответил лаосец.

– А зачем это?

– А низачем.

– А сколько это стоит?, – продолжала допытываться она и даже наморщила лобик и напряжённо посмотрела на меня, ища помощи.

– А сто долларов, – сказал лаосец с той сухостью, которая намекала на то, что и удивление на лице, и настойчивые расспросы неприличны, когда речь идёт о столь самоочевидном предмете, как корень в проволочной шапке...

Вот так. Как мы с ней потом смеялись, вспоминая этот диалог! Вы понимаете?

Я кивнул.

– Кусочки. Камешки. Детальки без сюжета, – сказал он. – Сюжет в жизни, понимаете ли, даруется только героям, а нам, *овощам*, остаётся только гадать, когда нас, знаете, срежут под корень, соберут с грядки. Вообще, я оказался недостоин своей свободы, упустил шанс. Проворонил!

Мы рассмеялись оба, сдержанно, как знатоки и ценители.

– Вот так. Второй час, – сказал он, взглянув на часы. – Вот и скоротали время до обеда.

Теперь мы сидели с ним напротив друг друга за столиком в буфете. В этот учрежденческий буфет сходился обедать высший свет тех полутора десятков контор, что были расположены в здании. Кто попроще ходил в столовую. Высший свет в основном состоял из дам, и все они были полными, как на подбор. Они входили в буфет, покачиваясь на высоких каблуках, громко разговаривая, по-хозяйски оглядывая прилавок. Их трапезы были обильны, хотя они беспрерывно говорили о диетах и калориях. Они уставляли столы перед собой тарелками с салатами, с сосисками, с яичницами, стаканами сока, чашечками кофе, блюдами, на которых пышно громоздились ром-бабы... Плотный, жужжащий рой голосов висел в маленьком буфете.

Мы говорили вполголоса, как заговорщики. Перед ним стояла тарелка с двумя сосисками и зелёным горошком, передо мной чашка кофе. В обыденности этих сосисок и вечно-зелёного горошка из консервной банки было что-то ужасное. Даже трагическое. Но это была *моя* мысль, он её, судя по аппетиту, с которым ел сосиску, не разделял. Он сладострастно намазал сосиску горчицей – в обилии горчицы, пожалуй, тонкий психолог мог бы угадать страсть к острым приключениям или тягу к самоубийству... Он продолжал, снова вернувшись к своему всегдашнему состоянию равнодушия и спокойной иронии:

– Девушки уехали, обе, практика у них кончилась, и я

ощутил такую, знаете, пус-то-ту... Лицо его болезненно скривилось. – Пус-то-ту-у-у... И тут меня вызвал к себе консул.

Не знаю, стоит ли дальше рассказывать, – он насадил на вилку кусок сосиски и отправил его в рот. – История моего несостоявшегося побега кончилась. Продолжается история моих мучений. Её я могу длить вечно, не думаю, что вам это интересно, ладно, ограничимся, знаете, временем, необходимым мне для поглощения вот этих сосисок, а вам на то, чтобы управиться с вашим кофе...

Консул был злым духом советской колонии. Понимаете, посол витал в высоких сферах, советник по контролю был рассеян и безразличен. А консул проявлял живой интерес к жизни сограждан. *По должности.* Когда он на своём пятиметровом серебристом «Бьюике» подъезжал к «советскому дому», там начиналась паника, такая, как будто в машине сидел Фредди Крюгер. Вокруг дома в высокой траве проложены асфальтированные дорожки, дети носились по ним на велосипедах и иногда видели выползшую на асфальт змею, но они не боялись змей. Они боялись консула. Завидев его «Бьюик», они неслись домой и прятались. Всё замирало. Люди выключали радио, прекращали разговаривать по телефону, переставали сверлить дрелью стену или забивать молотком гвоздь, они замирали, как мыши, прислушиваясь в ужасе, у какой двери он остановится. А консул – молодой человек спортивного телосложения, в белой рубашке, с приспу-

ценным узлом галстука, радушный, приветливый, улыбаясь, медленно запирал машину и в гробовой тишине поднимался по лестнице. Мне кажется, ему нравился страх, который он внушал. Его визит чаще всего означал неприятности и близкую отсылку на родину.

Я ждал разговора с ним во дворе посольства. Там был заросший ряской бассейн. Я стоял на его краю и глядел в тёмную неподвижную воду. Солнце поднялось, начало припекать. Я отошёл в тень и понял, что уже осень. Времена года в Лаосе меняются с непостижимой резкостью. Листья облетают в одночасье. Листопада как процесса в Лаосе нет. Я стоял в тени и замороженно смотрел, как в трёх метрах от меня в сияющем воздухе вращается маленький красный лист, по форме похожий на сердце. Потом вдруг – луч солнца упал под новым углом – чудо исчезло: узко и длинно блеснула серебристая паутинка... «Вас просят!» – крикнула секретарша.

Всё это напоминало дурной фильм ужасов. Монстр избрал своим местопребыванием подземелье. Я сошёл по лестнице и очутился в огромном зале. Стены отделаны черным мрамором. У светильников красные абажуры. На стене африканские маски. В дальнем конце зала за столом сидел консул и что-то писал. Он не поднял головы. Я пошёл к его столу, как-то само собой ожидая, что в углах его рта сверкнут два окровавленных кривых клыка. *И он расхохочется смехом, от которого кровь стынет в жилах.* Но когда он всё-

таким поднял голову, клыков не оказалось. Молодой человек, ненамного старше меня, наверняка с чувством юмора, наверняка играющий в теннис, с улыбкой кивнул мне на стул и, разминая спину, откинулся назад, сладко потянулся всем своим спортивным, здоровым, полноценным телом.

– Вы, конечно, догадываетесь, почему я вас вызвал?, – улыбаясь, спросил он.

– Нет.

– Нет?, – он удивился. – А вы подумайте! Он ещё шире улыбнулся.

– Не знаю.

– А должны знать!

– А не знаю.

Улыбка не исчезла, но сделалась напряжённой.

– Что, правда не знаете?

– Я же уже сказал...

– Хорошо, – он рывком перебросил тело в новое положение, сел за своим столом с прямой спиной, всей позой показывая, что теперь у нас будет официальный разговор. – На вас поступил сигнал.

– Сигнал?

– Ну да, сигнал, – для него эта терминология была привычнее привычного. К нему всё время поступали сигналы. – Вас это удивляет?

Я пожал плечами и буркнул что-то невнятное. Я чувствовал, что у меня потеют ладони, что он затягивает меня в свою

сеть, что на меня снова наваливается что-то коричневое, бесформенное, унылое, от чего мозг погружается в спячку... И уже в то мгновение я, понимаете, понял, с какой-то обессиливающей ясностью, что *уже* упустил свой шанс, что теперь уже *всё* поздно и впереди не будет ничего, кроме тяготины. *Время* для меня кончилось, началось опять нечто безвременное, безсобытийное, тупое, как коровья жвачка.

– Теперь понимаете?

– Что понимаю?, – трепыхнулся я.

– Вам лучше не валять дурака, а поговорить со мной.

По душам. Вы что, думаете, я не человек, а?, – в его голосе прозвучала обиженная нотка. Он снова давал мне шанс. Влажная улыбка, блеск в глазах, намёк, кивок. – Я не прав? Слушайте, да что вы, ей богу, ну делов-то, эта девушка. Да они на практику сюда за этим и ездят!

Он рассмеялся. Я с ним не смеялся.

Он хотел, чтобы я рассказал *сам*. Чтобы выдал ему *её*. Чтобы я ему рассказал о том, где, да как, и как она мне показалась. Ну, в постели. Ну, студенточка. Чтобы мы поговорили как два мужика, чтобы я сам свёл всю эту историю к обычному свинству: ну, значит, пошли мы с ней... ну, я, значит, её... И чтобы он мог, встречая меня, многозначительно подмигивать и наслаждаться моим смущением, моей паникой, паникой *женатого*.

– Не знаю, о чём вы.

– Ну, ну... Упёрся человек, да? Я и не знал, что вы такой

упрямый, – весело заговорил он со мной, как с ребёнком. – Ну, что же мы будем делать? Вы понимаете, что я не хочу копаться в вашем грязном белье? Нет у меня такого желания!

В голосе его теперь был праведный гнев. И обида. И селье.

Он не хотел конфликта. Не видел причины для конфликта. Обычная ситуация, *аморалка*, обычная для него работа. Немного замарать человека, ну, и оставить, конечно, пусть работает.

Я пожал плечами. Я не спал с ней, у нас *ничего не было*, но говорить с ним об этом я не мог.

– Вы *ничего* не хотите сделать, чтобы себе помочь – сказал он. – А положение ваше серьёзнее, чем вам кажется. Он говорил, заставляя себя быть серьёзным, преодолевая собственную игривую весёлость, и было видно, что ему всё это моё упорство, Дон-Кихотство представляется очень смешным... – Послушайте, я совершенно не испытываю желания устраивать вам неприятности, но я же вам сказал, был сигнал. Я обязан реагировать! Вы обвиняетесь в нарушении правил поведения советских граждан за границей.

– Я не нарушал, – сказал я, мучительно глядя в пол.

– Вам придётся написать объяснительную по поводу ваших нарушений.

– Я ничего писать не буду.

Он пододвинул ко мне через стол белый лист бумаги.

Я сомнамбулически, как во сне, зеркально повторил его

жест, подвинул лист назад к нему.

В огромном зале воцарилось молчание. Некоторое время он рассматривал меня через стол, в упор. Я сидел на стуле, сгорбившись и потупившись. Все его попытки вытолкнуть ситуацию из того иррационального болота, в которое я её загонял, потерпели крах. Я чувствовал себя под его взглядом мелким, напакостившим зверьком... И мне было всё равно.

– Значит, не будете писать?

– Нет, – просипел я пересохшим горлом, чувствуя, как по бокам течёт липкий пот, пот страха. – Подвиньте мне мой кофе, пожалуйста. Спасибо, так. Собственно, уверяю вас ещё раз, я уже всё рассказал. Он засмеялся. – История рассады, дерзнувшей подумать о побеге... Овощ Господа Бога попытался стать героем.

– Да, но всё-таки должен быть конец, – сказал я.

– Конец, длящийся уже лет десять, сидит перед вами. *Они* вытолкнули меня назад, в неизменность, вот и всё, – сказал он с изящной улыбкой человека, любящего парадоксы. – Ну хорошо, вот *настоящий* конец. Последняя серия, после которой мне уже нечего будет сказать. Возможно, лишняя. Слушайте.

Он наслаждался своим мастерством рассказчика.

Через два дня я уже был в трёхстах километрах от Вьентьяна, в городе Фонгсали. Это крошечный городок в лаосских джунглях. Консул начал действовать: я был на-

правлен туда в срочную командировку переводчиком при трёх инженерах, приехавших в Лаос из Ленинградской лесотехнической академии. Это была маленькая ссылка, за которой должна была последовать другая, окончательная...

Рядом с городком советские специалисты построили для друзей-лаосцев лесопилку, крупнейшую в мире (или в Азии? Забыл). Но было два обстоятельства, помешавших ей перепилить на дрова все леса Лаоса. Первое состояло в том, что наши специалисты намеревались пустить на распил дерево-рыбку. Оно называется так потому, что силуэт на распиле напоминает рыбку. Может быть, они не прислушались к тому, что говорили им местные жители, а может, Дух Лаоса отомстил им за европейское высокомерие или русское чванство – но вскоре они обнаружили, что из дерева-рыбки нельзя строить дома, ибо оно вызывает у людей чесотку. Второе обстоятельство состояло в том, что они забыли построить очистные сооружения. И щёлочь, которая так обильно используется на лесопилках, потекла в речушку, из которой крестьяне и жители Фонгсали берут воду. Речушка впадает в Меконг, а он, как известно, течёт по всей юго-восточной Азии. Лаосцы взмолились, вопрос решался чуть ли не самим Брежневым. Ленинградцы, к которым я был прикомандирован, ставили неудавшуюся супер-лесопилку на консервацию, утрясали последние дела – и пили. Я тоже пил с ними. Их жизнь в Лаосе кончалась, моя тоже. Жили мы все четверо в большом зале местной гостиницы – бывшего публичного

дома. Это было уже как бы преддверие Родины.

Начинали мы с утра. Орали друг на друга, матерились. Немногочисленный персонал гостиницы боялся входить в зал. Бельё нам не меняли вторую неделю. Когда самогон кончился, я сел на японский мопед, который подобрал на лесопилке, и, укрепив на багажнике бак, ехал на окраину, в лавку, за новой дозой. Голый, в одних трусах, я бесстрашно носился по окраинам. Однажды во власти хмеля помчался по первой попавшейся дороге. Её прямизна привела меня в ярость. Я ржал, выл, хохотал и прибавлял газ. Вдруг на обочине я увидел трех мужчин с винтовками в руках. Нет, это были не страшные повстанцы патикане, а крестьяне из деревушки, вышедшие защищать её. Здоровые мужики, черноволосые, босые. Я подлетел к ним, намереваясь круто развернуть и мчать назад – но не удержался и грохнулся на повороте, вздымая облако красной непроницаемой пыли. Помню их недоумённые лица, кашель и собственное неудержимое хихиканье... В другой раз, бросив мопед на обочине, я неизвестно зачем ушёл в джунгли и лазил там по деревьям, на каждой ветке которых мог возлежать питон, переваривавший телёнка. Меня обуревал восторг. Потом – провал.

В памяти у меня остались какие-то куски. Вот я сижу на табуретке, и мне кажется, что я лечу. Это оттого, что я пьян. А ещё оттого, что мимо моих босых ног скользят быстороходные лаосские муравьи. Я гляжу на них, и мне пред-

ставляется, что они парят над полом. А вот я вышел в туалет и, сидя на проржавевшем унитазах времён французского владычества, читаю интервью академика Спиркина в газете Manila Times. Спиркин утверждает, что сумел неопровержимо доказать существование биополя, экстрасенсы существуют. «Мост через реку Огуречная будет построен!» – кричу я, и в это мгновенье начинается гроза. Чудовищная гроза. Я залезаю ногами на унитаз, открываю узкое оконце, и в туалет с ударом грома и проблеском молнии врывается дождь. В секунду я весь мокрый. Неумолчный шум падающей с неба воды стоит в воздухе. Струи влетают в окно и разбиваются о стену. Я ору. Апофеоз. Затем вот что. Один из ленинградцев, он литовец, бывший джазмен, обняв меня за плечи (мы сидим в нашем зале у стола), рассказывает мне о ресторане «Лидо» на Рижском взморье, о широких песчаных пляжах Паланги, о серых водах Балтики... Вдруг шум под окнами, на площади. Мы идём смотреть. На площадь перед гостиницей привезли издырявленный пулями автобус. Патиканы напали на него. Шофёр и все пассажиры убиты. И всю ночь там, внизу, на площади маленького городка Фонгсали, потрескивают свечи, которые родственники убитых прилепили к пулевым отверстиям... Это, пожалуй, моё последнее воспоминание о Лаосе. Он помолчал. – Да, последнее.

Наша скудная трапеза окончилась. Мы сидели в гудящем десятками голосов буфете и молчали. Взмокшая буфетчица с рыжими крашеными волосами, в идиотской наколке,

металась за своей стойкой, вилкой доставая сосиски из кастрюли, меча ром-бабы на блюдца, разливая густой сливовый сок по гранёным стаканам. На стенах буфета в рамках и под стеклом висели выгоревшие детские рисунки, на широких подоконниках стояли полумёртвые цветы. Всё какое-то ненужное, случайное. Люди всё входили, всё пристраивались в хвост длинной очереди. Пахло старыми котлетами. Огромные, круглые дамы, держа тарелки в руках, кружили вокруг нашего стола и бросали на нас многозначительные взгляды. Им негде было сесть. Нам пора было уходить наверх, на наш этаж, к раскрытым на столах журналам в глянцевых обложках... Мы вышли из буфета и вошли в пустой лифт.

– Ну вот, – со смехом сказал он, – *вы выслушали историю моей жизни*. Помните, я упомянул о старике, который в семьдесят лет понимает, что у него в жизни была только одна настоящая минута? Этим стариком буду я... Ну, что, развлёк вас?

– Вполне. Я помолчал, соображая. – Но зачем консул послал вас в Фонгсали? Почему не сразу выслал?

– А, он дурак... Боялся отправлять меня одного, думал, что я сбегу в Дели, там промежуточная посадка. Чувствовал что-то. Убрал меня из Вьентьяна на две недели, а потом отправил в Москву с попутчиком из посольства.

Мы снова замолчали. Лифт натужно гудел между этажами. Лампа мигала.

– А кто же на вас донёс?

– А, какая разница!, – он вяло махнул рукой. – Это природа, ящерица стучит в окно, человек стучит на человека... А странно, что не поняли, – он посмотрел на меня с мягкой улыбкой мудрого всемогущего фокусника, для которого нет тайн в людской природе. – Та девушка в очках и с вертялками бёдрами, Ольга. Не могла простить, что гуляю не с ней.

– А та, вторая? Вы встречались с ней потом?

– Никогда её больше не видел, – ответил он с гримасой. – Слышал, работает в издательстве «Прогресс».

Лифт остановился на нашем этаже.

В СНЕГУ

1.

Утром, поставив чайник на маленькую, в две конфорки, закопчённую дочерна плиту, я толкнул дверь и вышел на крыльцо. Крыльцо было высокое, с навесом, навес завалило снегом, под ним в проволочном кожухе тихо покачивалась лампа. Она обледенела, превратилась в снежный ком. Глаза у меня чуть не ослепли от зимнего сияния. Я стоял на крыльце, чувствовал, как меня пробирает холод. Я вылез на свет Божий неумытый, в голубой фуфайке и в чёрных турецких джинсах, заправленных в валенки, которые я отыскал здесь вчера в грудe старья.

Над дачным посёлком стояла тишина. Небо было белым и очень спокойным. Глубокий снег покрывал участок, и соседний тоже, и улицу. В плавных волнистых сугробах ещё видны мои вчерашние следы. За ночь их почти занесло. В белом волнистом море косо торчал утонувший штакетник, стояли, раскинув голые ветви, яблони. В своей зимней обнажённости посёлок был прозрачный. А в оставленных до весны, заброшенных, безлюдных домах с закрытыми ставнями, с окнами, заложенными изнутри фанерой, было что-то похожее на корабли, потерпевшие кораблекрушения. И ни звука, и ни души.

Я спустился по бугристым обледенелым ступенькам вниз, набрал в ладони пригоршню снега и растёр лицо.

Завтрак состоял из чашки растворимого кофе. Держа в руках горячую чашку, я отхлёбывал кофе и чувствовал, как зимний свет беспрепятственно струится через мои мозги. Вдруг меня постигло что-то похожее на счастье. Рукопись в синей папке лежала на подоконнике. Я протянул к ней руку, вытащил первый лист и положил перед собой, настраиваясь, как пианист перед клавиатурой.

Лист был старый, мятый, пожелтевший, на нём прыгающими буквами старой печатной машинки был напечатан план книги. Плану было пятнадцать лет. Сверху крупно, от руки: «Типология русской истории». Дальше перечень глав: «1. Необходимость исторического анализа. 2. Характеристика современного момента. 3. Образ власти. 4. История как поток. 5. Ключевые люди и точки поворота. 6. Русская революция как борьба сознания и подсознания. 7. Возможность другого развития. Генерал Корнилов». Я читал и перечитывал строки плана, пил кофе, медитировал, собирался с мыслями – и вдруг увидел, что прямо по середине улицы по снегу лезет *нечто*.

Безумная мысль о медведе, да, медведе, который повадился зимой приходить из лесу в посёлок и лазить по домам в поисках сгущёнки, пролетела в моей и без того слабой, неустойчивой голове. Почему-то я подумал именно о сгущёнке, а мысль о том, как же медведь открывает консервные

банки, не пришла мне в голову. Через пару секунд я уже хорошо различал мужика с надутым от напряжения круглым лицом под ушанкой, усы, очки, отставленные для равновесия толстые руки в варежках, огромные ноги в жёлтых шнурованных ботинках, медленно поднимавшиеся с каждым шагом из сугроба, так, как будто он танцевал краковяк. Лезть по снежной целине было ему очень тяжело.

Я вышел на крыльцо и глядел, как он одолевает последние шаги по сугробам до калитки. На последнем шагу он провалился глубоко, почти по бедро, и схватился руками в варежках за забор.

– Слушайте, – сердито сказал он мне, – так это вы, а я думаю, что за Коломбина такая, опять, что ли, дачи грабить!

– Ну, – ответил я тупым модным междометием.

– На субботу—воскресенье приехали?, – он отдувался, как тюлень. Густые седые усы топорщились.

Вопроса я не понял. По-моему, вчера была среда.

– Ну.

– Свет этой зимой есть, слышите. Поездом приехали?

– Ну, – сказал я и добавил для разнообразия: – Поездом.

– Сторож тут есть, Робинзон, он ни сном ни духом, а ему платят... Слышите, в прошлом—то году сильно грабили дачи, трое, я раз осенью выхожу из лесу, – изо рта у него вырывался пар, рот замерзал, звуки смешивались в кучу, становились неудобоваримыми, – они на опушке сидят, пьют вино, вишь, грят, мы дачу щас обчистили, поесть—попить того—

сего... Двое их мужиков, одна женщина, они тут несколько лет промышляли, пока не попались... – доверчиво, как старому знакомому, нёс он. Лицо у него было располагающее, очень достойное, честное – интеллигентные очки в тонкой оправе с круглыми стёклами, седые, как из серебра отлитые усы, обвисшие по—бульдожьи щёки, за стекляшками очков растерянные глаза. – Они потом ещё сгорели, напились в чужой дачи и сгорели, да, слышите, вот так, а что, Россия, блин!

– А, ну да, что, конечно, блин, это, а вы.., – я не знал что сказать. – Вы что ль живёте тут тоже, а?, – спросил я вяло.

– Живу. Мне где ещё жить, на вокзале?, – гневно крикнул он.

– Ну не, не, что вы, это, вы, того, почему ж... на вокзале, – засмутился я, не понимая причины его внезапного гнева. Он стоял в сугробе, держась руками в варежках за штaketник, не уходил и с упорной, требовательной тоской молча глядел мне в глаза.

Мы веско помолчали. Казалось, эта грузная фигура так и останется стоять в сугробе навечно, схватившись за забор, не в силах сдвинуться с места – памятник идиоту в очках и ушанке, зачем—то залезшему в сугроб и не могущему вылезти из него. Я занервничал.

– Э... вам, того, блин, это, не холодно так стоять, а?

– Спасибо, ничего.

Опять помолчали. Я знал, что должен послать его и вернуться на кухню, к кофе и размышлениям, но человеколю-

бие (или малодушие, что в данном случае одно и то же) уже овладело мной.

– Э... может, зайдёте?

– Зайду, – быстро согласился он. – Как? Он подёргал запертую на замок калитку.

– Вы через ворота. Там створка отходит.

Он был одет неплохо, это удивило меня. Все вещи относительно новые, неистёртые, непорванные, чистые, очевидно купленные не лишь бы что, а с мыслью об удобстве, тепле, долговечности и даже моде. Да, этот человек был одет с шиком пожилого джентльмена, ведущего простую и солидную жизнь в небольшом английском провинциальном городке, в графстве Йоркшир, где у него дом, немного земли (ну, вы сами понимаете, пустяк – сто акров) и стадо симпатичнейших овечек. Я бы не удивился, если бы он медленным движением большой, толстой руки достал из кармана вырезанную из дерева тёмную трубку с красноватой медной крышкой, сел, закурил и начал: «Вчера, любезный мой сэра Павел, я был в гостях у сквайра Энтони, который велел передать вам привет и бочонок тёмного пива... Джейк, внесите бочонок!» Но он, конечно, никакой трубки не достал, никакого сквайра с пивом не помянул, а только кряхтел, стягивая с себя синюю пуховку. Пуховка была стильная, со множеством карманов на молниях. Он стонал и кряхтел так долго и так жалобно, что весь бред об английском джентльмене улету-

чился сам собой.

– Кофе будете?

– Буду! – согласился он с отчаянной решительностью в голосе.

Он сидел напротив меня с чашкой кофе в руках и жадно прихлёбывал. Очень чистый, очень аккуратный старик, в коричневом свитере с вырезом, в черных брюках, в разрезе свитера – галстук. Я представил, как он каждое утро плохо гнущимися пальцами повязывает галстук, и меня замутило от тоски. Руки у него тряслись.

– Ну, значит, на субботу—воскресенье, – повторил он. – Что там, в Москве?

Я пожал плечами.

– Пожить, отдохнуть... Здесь хорошо зимой, тихо, воздух прекрасный. Как родители, того—сего, ну?

Я посмотрел на него, чувствуя, что ещё пара таких вопросов – и я психану. Ну, выmaterюсь или брошу стакан в стену. Или расплачусь. Такое со мной бывает. Нервы у меня на пределе. Я пятнадцатый год пишу одну и ту же книгу по истории России, и конца этому не видно. Да, честное старое лицо, аккуратно повязанный галстук и чашка, неустанно прыгающая в трясущихся руках, вызывали у меня желание выmaterиться. Кто дал ему право выглядеть таким несчастным? И почему старики носят галстуки? Мой отец после шестидесяти тоже повязывал галстук по любому поводу.

– Вы что ли, блин, это... знали, того, ну... моих родите-

лей?

– Ну конечно знаю. Отца твоего и мать лет двадцать уже. Мы ж соседи, вон мой дворец, – он кивнул на завалившуюся набок серую халабуду под плоской крышей и с закрытыми фанерой окнами. Халабуда была похожа на средних размеров китайскую джонку, вытащенную на берег. Когда её тащили, она подломилась посередине. Он, значит, зачем-то жил зимой в джонке.

Я обдумал услышанное. Что-то не совпадало.

– Нет, моих родителей вы не знаете.

– Почему?

– Они умерли.

Он с недоумением посмотрел на меня. В глазах обида.

– Умерли? Что ты говоришь! Когда?

– Отец четыре года назад, мать давно, уже десять лет прошло.

– А я её этим летом тут видел.., – начал он и осёкся.

– Как так, десять лет, это, слышь, ну, когда этим летом, рассаду для теплиц, гладиолусы.., – забормотал он тревожно.

– Вы меня с кем-то путаете.

– А ты не сын хозяев, Слуцких?

– Нет, я не сын, я друг сына. Он мне дал ключи от дачи.

Что б я мог тут в покое пожить, поработать.

– Как тебя зовут?, – тут же мгновенно спросил он, как будто в моём имени надеялся найти отгадку всей этой путаницы.

– Павел.

– Ах, ну ты, значит, Павел, чёрт, слышь, а я, того—сего, старый стал, блин!, – бурно обрадовался он, расплылся под усами широкой улыбкой. – Слышь, это, у меня комдив в Германии был, Павел Голобородько, хохол, дурак редкостный. В штабе соберёт нас и скажет: «Вы усе хавно, товарищи офицеры!» Мы так и покатимся... А я Всеволод Иваныч. Жить тут будешь?

– Буду.

– Чего тебе приспичило тут жить?

– А вам чего приспичило?

– Мне, слушай, жить негде, ты понял? Мне что, на вокзале жить, а? Ну, могу перебраться на вокзал!, – рывкнул он.

Я промолчал. Наверное, больной. Для бомжа одет слишком хорошо.

– Знаешь, у меня тут приёмник, но батарейки барахлят, сели, наверное... У тебя батареек нет с собой?

– Нет. Ну, это, вы, значит... зачем мне батарейки—то с собой?

– Ну, на всякий случай. Чего же они не ведут боевые действия, – сказал он горестно. – Надо же постоянно вести боевые действия. Он сказал это тихо, скорее себе, чем мне. Я сразу понял, что он имеет в виду Чечню, но спрашивать его о причине столь сильного желания к постоянным боевым действиям не стал. Я всё колебался между милосердием, заставлявшим меня предложить ему бутерброд, и раздраже-

нием, подсказывавшим мне, что лучше его выгнать. Меня раздражало положение, в которое я попал. Вчера я убежал в заброшенный дачный посёлок в уверенности, что несколько дней одиночества мне обеспечены, а мне так хотелось наконец побыть одному, так хотелось наконец *начать новую жизнь* – и уже сегодня с утра ко мне прибрёл несчастный старый идиот в жёлтых ботинках и вот уже полчаса морочил мне голову. Теперь вот Чечня.

– Вам чего, больше в жизни пожелать нечего?

– Нет, ну что ты, не понимаешь, – недовольно выговорил мне он. – Надо же наступать, вести боевые действия. Это ж ты подумай, окопы они вырыли в полный рост, в Первомайске этом, взять не могли. У немцев три линии обороны было, а Красная армия прорывала!

Лучше всего было бы молчать, не отвечать. Разговор умер бы сам собой. И он ушёл бы. И я сел бы за работу. Это было бы правильно. Но, как известно, я уже давно не способен следовать принятым мной решениям, и я заранее знаю, что из всех моих планов и затей всегда выйдут глупость и бред. Я и теперь предчувствовал надвигающееся на меня отвратительное близкое будущее, но ничего сделать не мог и плыл по течению, подчиняясь чужой воле, давая ввергнуть себя в дурацкий разговор... Конечно, о политике, потом об истории. Это всегда так. Всегда. Много лет. Тысячу лет. Сто тысяч лет. Лист с планом книги лежал на столе, придавленный чашкой кофе, и я тоскливо подумал о том, что

чашка, конечно, оставит на нём круглый коричневый след. Почему всё всегда так неудачно? Как он сказал: «Россия, блин!» Россия, значит, блин.

– То Красная армия.

– Это ты правильно говоришь... А теперь у нас ни армии, ни военной доктрины, ни вероятного противника... Спецназов наделали, они только умеют, головами кирпичи колоть... Деревню взять не могут. Да любой командир взвода Красной армии тактически грамотнее, чем этот их генерал, ты знаешь, где он служил?

– Где?

– За Ельциным всю жизнь горшок выносил!, – громогласно прокричал он и выбросил перед собой гигантских размеров коричневый палец с огромным, как лопата, жёлтым, посередине треснувшим ногтем, так, как будто собирался разрубить им мне голову. – Ты меня понял?

– Плевать.

– Нет, ну как это так, плевать, как ты можешь так рассуждать, это, слышь, а если все будут думать так как ты?! – осуждающе загудел Всеволод Иванов, но вспомнил, что он в гостях, осёкся и печально посмотрел на свои прыгающие пальцы. – Трясутся, вишь, помру скоро... Ладно, чёрт с ним... Ты, значит, жить сюда... А можно спросить, если не секрет, это, чего?, – в третий или четвёртый раз поинтересовался он.

– Ничего, – грубо ответил я. – Вы—то...

– У меня жена умерла, – с вызовом сказал он.

Я посмотрел на него. Вот кто покупал ему модную куртку, кто подбирал вещи.

– Пятнадцать лет я с ней, значит, прожил, а сын её меня, значит, из квартиры выпер. Коломбина какая. А я знал, что так кончится, говорил ей: «Наташа, не подписывай ему дарственную бумагу, как так – переходит в полную собственность? А если что... Он же нас выгонит! Нет, что ты, блин, того-сего, я его знаю, он никогда. Он хороший. В ногах у меня валялся, просил согласиться, обещал... А как она умерла, пришёл: «Твоего тут ничего нет, освободи площадь.»»

– И вы что же, освободили?, – поразился я его христианскому смирению.

– Ну что ж я, мне говорят иди вон, я собрался и ушёл.

– Этот сын, он кто? Бизнесмен?

– Майор МВД. Убить меня обещал.

– А вы, значит, на пенсии?

– Я в отставке. Без военной пенсии я бы сейчас с голоду сдох. Перезимую тут, а весной продам дачу, куплю комнату в коммуналке.

– Да... Он так просто и неприятно поведаль мне историю своего изгнания, что мне стало жалко его. Под чашкой на листе бумаги по-прежнему медленно расплывалось толстое бурое пятно, как бы окончательно разрушая чистоту и непорочность моего замысла. Лёгкий золотой свет вливался в окно и наполнял убогую терраску. С берёзы тяжело спорхнула ворона, с ветвей посыпался снег. Мир и я с ним

на секунду застыли на перепутье. – А в каких войсках служили?

– В танковых. Прошёл путь от командира взвода до замкомполка по техчасти, – не без гордости сообщил он. – У тебя курить можно? Он достал, конечно, никакую не трубку с красноватой медной крышкой, а обыкновенную пачку LM. Он курил, неуклюже держа сигарету в толстых, как сосиски, пальцах. Курил усердно, пыхтел, как паровоз, и скоро терраса наполнилась дымом.

– Майором вышел в отставку... Они деревню не могут взять, дураки. Окопы там, видишь, в полный рост нарыли. Надо туда две пехотные роты и одну танковую. Поставить огневой вал. Ты, конечно, видел огневой вал?, – бегло спросил он меня.

– Нет.

– Нет?, – вот тут он удивился основательно, но тут же продолжал, ухватываясь за возможность продлить разговор. – Ставится огневой вал, слышь, это, за ним в шестидесяти метрах идёт пехота, всё так рассчитано, что её осколки не заденут, потом огневой вал переносится дальше, а пехота, значит, входит в окопы и добивает тех, кто ещё жив. Вот так. А они там что делают. Слушай, ну вот ты, ты скажи мне, ну что они там делают, а?! Сначала Союз профукали, теперь Россию разваливают! Надо аулы напалмом накрыть, и всё. Ты кто по профессии?

– Я? Историк.

Я поглядел в окно. По-прежнему голубовато отсвечивал белоснежный снег и торчали яблони и в небе медленно клубились тучи, но абсолютной божественной тишины уже не было. Там, где двое людей, уже не может быть тишины. Я вздохнул. – Ладно, выпить хотите?

– Давай, – со сдержанным радостным смущением тут же согласился он.

Я достал из холодильника бутылку «Столичной», выудил из ящика с инструментами долото, подковырнул им пробку, с подоконника взял мутный гранёный стакан для себя, а перед гостем поставил чашку с русским пейзажем на боку. Поле, в поле ковыль, берёзка, и всё это почему-то синее. На дне стакана прозрачная вязкая дрянь. Олифа? Секунду я колебался, потом недрогнувшей рукой налил в стакан водки до половины. Всеволод Иваныч обхватил русский пейзаж плохо гнущимися пальцами.

– За знакомство.

Мы не чокнулись, а сделали вид, что чокаемся, протянули друг к другу руки и кивнули головами – так профессионалы соблюдают бессмысленную для них, но необходимую в обществе формальность. Я выпил до конца, он тоже.

– Берите колбаску, – водка мгновенно убила раздражение и горечь во мне, день приобрёл смысл, всё стало на свои места. Я был при деле. В конце концов, нельзя избегать общения с людьми, нельзя пятнадцать лет сидеть бирюком над

книгой. Надо жить. Надо черпать мысли в гуще жизни, общаться с людьми, познавать их душу и через это ещё глубже, ещё мощнее думать о России... Я ведь и выпив могу писать.

– Спасибо, – он взял кусок колбасы. – И по какой, значит, части ты историк?

– Я историк по части русского бардака, – отвечал я, вытягивая ноги и откидываясь на спинку шатающегося колченогого стула.

– То есть ты по русской истории?

– По ней, родимой. Ну её на хрен, слушайте, Всеволод Иваныч, я её не люблю. Ещё одну?

– Ну давай. Вообще—то я с утра много не пью, не больше полулитра. Но тут, знаешь, на свежем воздухе, на природе, это полезно.

– Знаете, я читал как—то в журнале «Здоровье», давно ещё, это, значит, ну, того... тыр-пыр... что в водке содержится много витамина С. Я разлил. Прозрачная жидкость, предположительно олифа, в стакане исчезла, сейчас она впитывалась в стенки моего желудка, придавая им восхитительный мягкий блеск.

– О чём мы с тобой говорили о таком интересном, слушай, а? А, об истории. Так ты, значит, историк?

Я не отвечал.

– Так ты как историк скажи мне, это что, всё было необходимо?, – снова потребовал активный старик. Его огромная рука неподвижно лежала на краю стола, на клеёнке в мелкий

цветочек. Я прекрасно понял его вопрос, но по какому-то закону разговора сделал вид, что не понял.

– Что необходимо?

– А всё. Всё, что они натворили. Это разве сейчас Россия? Это не Россия, это Коломбина, слышь, я те говорю, вот-вот, да. Без армии, без Казахстана, это никакая не Россия. Развал Союза, приватизация, ты видел по телевизору, как этот рыжий отъелся? Заводы он жрёт, что ли?

Я задумался, подперев голову рукой. (Приятно выпить водки с утра, проолифить желудок, отвлечься от дел, от семейных и личных проблем к делам философским и государственным...) России без армии, конечно, быть не может, ибо Россия всегда и была армией, но жрёт ли рыжий заводы? Я сомневался.

– Могло быть и так, и эдак, – наконец вымолвил я. – Войну в Чечне начинать не надо было!

– Ну что ты говоришь, не надо!?, – возмущённо забурчал Всеволод Иваныч, и усы его затопорщились. – Что же, дальше терпеть? Они же обнаглели, чёрные. Слышь, ты погляди, я квартиру не могу снять, мне дорого, а кавказская национальность особняки строит и по Москве на «Мерседесах» ездит. Это правильно? Я тя спрашиваю, что, это, того, правильно, да?

– Фигня, – сказал я. – Это мещанский, обывательский взгляд у вас. Подумаешь, негде жить! А надо подняться над бытом, забыть о мелочах, когда решаются судьбы отечества.

Чеченская война – переломный момент. Окончательное размежевание демократических сил и партии власти. Гайдарушка родненький на этой войне и скурвился. Понятно?

– Нет, а что же, терпеть?, – как не слыша меня, гнул своё мой собеседник. – Они ж обнаглели, чёрные, нефть, наркотики, уголовщина... Ты глянь, гонят же, гонят нашу нефть за рубеж, сволочи! В Москве от них продыху нет, ты понял?

– Ещё будете?

– Давай, по последней. Не люблю с утра много, у меня ещё дела сегодня есть.

Я не стал спрашивать, какие могут быть тут дела. Никаких тут дел быть не может. Налил, и мы выпили.

– Неправильно воюют, вот что, – сказал он. Лицо его обмякло, потеряло прежнюю благообразную красивую чёткость. – Солдаты голодные, как воевать с голодными солдатами? Можешь мне сказать – как?

– А вы хоть всю армию отбивными по сорок тыщ кило кормите, не поможет. Эту войну выиграть нельзя, потому что это, блин, народная война.

– Ну да, нельзя!, – захихикал он. (Старого танкиста, служившего в Красной армии, смешила сама мысль о том, что могут быть войны, которые нельзя выиграть. Если войну можно начать, то её можно и выиграть. Так я понял его похожее на клёкот хихиканье). – Пусть бы при Сталине они поспротивлялись! В двадцать четыре часа в вагоны и на Север! Говорю тебе, надо аулы напалмом – и дело с концом!

– Дался вам этот напалм. Вы его любите, да?

– Почему, кумулятивные фугасы тоже вещь не плохая...

А ты бы что предложил?

– Все сверхдержавы проиграли войны против национально—освободительных движений. Франция проиграла в Алжире, Англия в Индии, Франция и Америка во Вьетнаме, Союз в Афганистане... Такие войны не выигрываются – в принципе!

– Эх... Ну да... ну да..., – забормотал он, придавленный моей эрудицией. Такого глобального исторического анализа он не ждал. – Ты знаешь, я хотел бы с тобой по истории России поговорить, у меня вопросы есть. Ты Пикуля читал?

– Нет.

– А хороший писатель, мне кажется... Он стал вставать. Это был процесс: упереться ладонями в край стола, запыхтеть, подтянуть тело вверх, укрепить на полу ноги, выровнять широкую толстую спину и огромный офицерский зад. – Я пойду, ну, значит, у меня, слышь, дела... Попозже ещё посидим...

Бокон, враскоряку, как лезут по откосу в воду, Всеволод Иваныч слез по крыльцу в глубокий снег. Когда он исчез, оставив за собой, как трактор, развороченную колею, я вернулся к столу, налил себе ещё, выпил, потом пошёл в комнату и лёг на диван. На диване были набросаны старые пальто и телогрейки, я укрывался ими ночью. Теперь, когда гость ушёл, мне вдруг стало жарко, на лбу выступила испарина,

по бокам потёк пот. Я лежал на спине, подложив руки под голову, смотрел на кирпичный, не забранный досками потолок, чётко расчерченный линиями серых цементных прожилок, чувствовал, как по телу идёт жар и охватывает меня пьяная истома, и рассеянно думал обо всём сразу. Разговор на исторические темы взбудоражил меня, и остался неприятный осадок, что-то ныло и зудело в душе...

Есть вещи, в которых стыдно признаваться, среди них – некоторые профессии: писатель, артист, художник, историк... (Рассеянно думал я, лёжа на диване). Ну как может взрослый мужчина, возможно, как я, с брюшком и бородой, очень серьёзный, находящийся, как говорится, во второй половине жизни, говорить людям, что он, например, писатель, и при этом не покрываться пунцовой краской стыда, не проваливаться сквозь землю, не испытывать ощущения позора? Если ты писатель, то почему люди спрашивают тебя, чем ты занимаешься, а не бегают за тобой, выпрашивая автограф? Если ты артист, то где рукоплещущие тебе залы? Если ты художник, то, наверное, какой-нибудь марака, потому что иначе твои картины уже давно украшали бы стены музеев. Но тебя никто не знает, ты кропаешь или мараешь что-то в своём углу, намекаешь людям на своё предназначение, кокетничаешь непризнанностью и вообще представляешь из себя интеллектуальную кокопку. Кому ты нужен, как писатель, кому ты нужен, как историк? Никому! Тогда не ходи со страдаю-

щим глубокомысленным видом, не ной, не тьяни резину! Вон, иди, будь дилером по продаже гербалайфа, продавцом в магазине женского белья, будь рабочим на стройке палат, где поселится всеми нами очень любимый лысый градоначальник со своей молодой женой, будь секретарём—референтом у откормленного лососиной модного банкира в бордовом пиджаке или, ещё лучше, слесарем—сантехником, но только не будь кокоткой с бородой и в брюках, которая тянет манерно: «Ах, вы знаете, я писатель... Ах, вы понимаете, я историк...» Дерьмо ты поганое, а не писатель, шизофреник и паразит, а не историк. Нет, лучше повеситься, лучше спиться, чем в сорок лет строить из себя непризнанное величие и тянуть на манер шлюхи, потупив глазки: «У меня интеллектуальные интересы... Я пишу... Я творю... Я высоко витаю... Но злой мир не признаёт меня...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.